

Людмила Енисеева



«НУМИДИЕЦ» И ЕГО ПРИЧИНДАЛЫ

Памяти замечательного оперного певца, коллекционера, писателя, журналиста, заслуженного артиста Казахстана
Николая Николаевича ГРИНКЕВИЧА (1926-1992).

Николай Николаевич Гринкевич. Человек этот был уникален, и переполнял его множество самых невероятных, им же самим открытых или добытых из непредсказуемых источников, а потому всегда неожиданных знаний. Знаний, которыми он любил делиться. Он был просто одержим в своем стремлении сделать их достоянием других. Ни в одну редакцию, будь то газета, журнал, радио или телевидение, он никогда не приходил пустопорожним. За пазухой ли, в аккуратной папочке или свернутый в безобидную трубочку, у него всегда был наготове материал-другой, любовно выписанный им в ночной тиши своего кабинета. Вернее, в крохотной комнатухе квартиры-музея, сплошь заселенной редкими книгами, старыми фотографиями, антикварной утварью, немыслимой давности орденами и медалями, гравюрами и лубочными картинками, настоящими саблями, бутафорскими кинжалами и прочими подобными причиндалами. Это был мир, принадлежавший Николаю Николаевичу, и из него он извлекал скрытые от многих сведения, связующие ту или иную оборванную кем-то цепь времен и судеб. Да и сама по себе каждая вещь в его разнообразной коллекции имела свою историю. И как он умел об этом рассказывать! Один из таких сюжетов описан в его замечательной книге «Строки, имена, судьбы». История эта случилась во время поездки Николая Николаевича в Сибирь.

«Вот уже несколько дней, – читаем мы, – как я в Томске. Позади остался Иркутск с его древними соборами, студеной, стремительной Ангарой, радушными и славными друзьями. Из Иркутска я вез старинные керосиновые настольные лампы, ноты, ордена, деревянные блюда, снятые со старых домов жетоны страховых обществ. В первое же воскресенье я отправился на городской толчок. Пылкая фантазия коллекционера рисовала самые заманчивые и многообещающие картины. Увы, открывшийся взорам сезам оказался самым обычным суматошным базаром. Не спеша, я стал обходить торговые ряды, подолгу останавливаясь у каждого лотка. Вдруг прямо надо мной раздался веселый, зычный, явно заигрывающий голос:



– Ты что же это, мил человек, порожняком-то отходишь?

Поднимаю глаза – по ту сторону прилавка, лихо подбоченясь, стоит в синей выцветшей широкополой соломенной шляпе огромный, седоусый, похожий на таежного медведя дед – ни дать, ни взять вылитый Шестопер из бударинской пьесы «Ермак». Я ахнул от восторга и неожиданности. Так и пахнуло на меня лесным кедровым духом, былинной силищей, задором, удалью. Пахнуло на меня и водочкой. Стало быть, с утра дед был уже под хмельком. Речь у деда оказалась балагурной, смешливой, на красных словцах, на шутках-прибаутках.

– А вот я, ядреные рыжики, знаю, какой тебе товар нужен! Откуда знаю? Да ведь это проще простого. Сказать тебе, кто ты? Ты... – дед хитро прищурился, выдержал паузу и вдруг выпалил как из пушки, – ты – нумидиец!

– Кто, кто?

– Нумидиец! Вот ты кто! Ну что рот-то разинул? Правильно я тебя прописал?

– Нет, – говорю, – какой же я нумидиец, я русский!

– Да я тебе что, дурочка с перевозу, что ли? – закатываясь смехом, громыхает на весь базар дед. – Вижу, что русский, а все-таки меня не проведешь, нюх у меня на вашего брата. Сразу я тебя признал. Чудной вы народ – нумидийцы, заполошные какие-то, как влюбленные!

Откуда-то вынырнули дедовы собутыльники. Дед оживленно стал объяснять им, что вот, мол, есть на свете такие люди нумидийцы, покупают всякое барахло, самые, кажись, ненужные вещи. Одни монеты собирают, наемни москвичи приезжали, так я им целый кошель наших сибирских медяков насыпал. И тут только меня осенило – перепутал мой дед нумизматов с нумидийцами. Еле сдерживая смех, начал растолковывать ему, что к чему.

– Это, может, у вас по-научному так зовут, только что-то не больно красиво получается. Нумидиец куда лучше! Ты вот скажи – иконы тебе нужны? Старуха моя Зосиму с Савватеем повесила, а остальные я в корзину поскладал да и снес на вышку... А вот без почина ты у меня все равно не уйдешь. Смотрел-смотрел, да и проглядел хорошую вещь, а еще нумидиец! Гляди-ка!

И дед, что называется, из-под самого моего носа, разворошив кучу лома, поднял на широкой, как лопата, ладони потускневший от времени колокольчик.

– Во, бери! Может, тройку свою когда заведешь! А ну, расступись, народ!

Дед тряхнул колокольчиком – над базарным шумом и гомоном взвился и понесся чистый, громкоголосый радостный звон.

– Бери, Русь, не торгуясь! Ведь на ём надпись даже имеется...

Вся бравая компания смотрит на меня выжидающе – неужели, дурень, возьмет?

После секундного колебания даю рубль и получаю в собственное владение троечный колокольчик, еще раз мужественно укрепив за собой репутацию неисправимого чудака...

На следующий день, без стука, снова под хмельком, дед ввалился ко мне в номер с тяжелым свертком медных икон и с малюсеньким колокольчиком.

– А это – родной внучек того, что ты вчера у меня купил. Бери и его, грех родню разлучать!

Так нежданно-негаданно было положено начало новой коллекции колокольчиков и колоколов».

Страсть к редкостным диковинам, равно как и к удивлениям книжным снедала Николая Николаевича с самого что ни на есть раннего детства. И София, где он жил тогда с родителями, полностью располагала к этому. Среди всех дней недели, пишет он в рассказе о том, как судьба подбросила ему сногшибательную библиографическую редкость – издание книжки Лермонтова с портретом Гоголя, пятница занимала в его жизни особое – почетное и привилегированное положение. В этот день он обходил все букинистические лавки, скромно приютившиеся на шумных улицах Софии. «Вот лавка «патриарха» софийских букинистов Лисичкина. Книги сжимают вас здесь со всех сторон. Массивные, как каменные плиты, фолианты с затейливыми узорами на обложках, древние псалтыри и служебники, крохотные, похожие на разноцветных колибри карманные словарики, путеводители чуть ли не по всем городам и странам мира, издания прославленных болгарских и русских книжников Данова и Чипева, Бакалова и Паскалева, Смирдина и Сытина, Маркса и Вольфа. Именно отсюда я нес, сияющий и счастливый, все двенадцать томов «Истории государства Российского» Карамзина, отпечатанных в Санкт-Петербурге в типографии вдовы Плюшар с сыном. Или в конце темного пассажа – книготорговля инвалида Первой мировой войны дяди Ивана. Отсюда на мои книжные полки встали «Сенсации и замечания Госпожи Курдюковой за границею» Мятлева с великолепным цветным экслибрисом Елизаветы Бем, сборник стихотворений Аполлона Майкова с печатью крупнейшего библиофила Рудольфа Минцлова и другие».

Антиквары и букинисты. Ступив однажды в их заветные владения и испытав ни с чем не сравнимую радость находок и открытий, многие неожиданно для себя становятся их пленниками и неисправимыми романтиками. Вот таким романтиком – если не сказать фанатиком – был и Николай Николаевич. «В царстве золотых полок» – именно так назывался один из последних циклов его радиопередач в литературно-драматической редакции Казахского радио, где мне посчастливилось работать. И это только в ней. А что говорить о редакции музыкальной, детской, общественно-политической! Боже, сколько пленок хранится в их фондах под его авторством! Вот там, на верхотуре – шестидесятые годы. Следующий отсек – ближе к семидесятым, а тут и вовсе вчерашний день.

Да, если в пересчете на быстротекущее время, то он, может быть, и вчерашний. А на самом деле вот уже два года, как не звучит в эфире ничего нового из уст этого великолепного мастера литературного и музыкального рассказа. Не звучит, потому что вот уже два года, как он покинул этот свет, и нет рядом с нами любимого всеми, обаятельного человека, чей низкий, красивого тембра (как-никак певец, бывший солист Софийской и нашей казахстанской оперы!) баритон, как только он ступал в пределы Казахского радио, тотчас заполнял все коридорное пространство. И вот уже то там, то здесь хохмит, смеется радиийная публика над его ловкой остротой, пришедшей на ум историей, анекдотом, с охотой ввязываясь в легкий, казалось бы, ни к чему не обязывающий разговор, из которого рождаются потом идеи, темы и контуры будущих передач.

Передач этих, как вы поняли уже, было много, а вот такой автор, как Гринкевич, – единственный и неповторимый. Именно об этом говорили мы, сидя за столом, вокруг которого собрались, чтобы отметить вторую годовщину ухода из жизни Николая Николаевича. Было это в его доме. Вернее, в квартире, которая официально значится как квартира-музей, поскольку еще в шестидесятые

годы была выделена руководством Алма-Аты специально под богатейшую коллекцию разного рода ценностей и раритетов, собранных Гринкевичем за полвека. В числе пришедших на поминальную встречу были писатель Вячеслав Карпенко, главный редактор журнала «Простор» Ростислав Петров, создатель документальных фильмов Владимир Татенко, журналист и краевед Владимир Проскурин, давнишний друг семьи, преподаватель музыки Лилия Соболева, работник культуры Юрий Пачин и другие. Принимала нас жена Гринкевич Раиса Васильевна, Рая, и их сын, тоже, кстати, Николай. Был обед в память о хозяине, и, конечно, каждый говорил о том, как нам его не хватает. Взять «Простор», например. Сколько удивительных публикаций прошло здесь благодаря тем рукописям, которые он приносил! Многие факты, имена, события были открыты им для казахстанцев в период оттепели намного раньше, чем о них узнала, положим, Москва.

– Николай Николаевич, – объяснял Ростислав Петров, – для нас особенно ценен тем, что он привез оттуда, из Европы, блеск той культуры, которую вытеснили, изгнали, скажем так, в свое время большевики. Эта культура там не умерла. Она сохранилась и жила более свободно, чем у нас. И вот он это привез сюда. Я познакомился с ним в стенах нашего журнала, будучи его ответсекретарем. Знал-то я его, конечно, намного раньше по публикациям в газетах. Одной из первых стала печатать рассказы о нем и его материалы «Вечерняя Алма-Ата». Мне представлялся он тогда высокообразованным ученым, очень культурным человеком, к которому близко не подступишься. Я как-то робел перед ним. А когда он появился в нашей редакции, оказалось, что он действительно богатый душевно, открытый, легкий в общении человек, и как-то постепенно у нас с ним завязались теплые отношения. Поскольку он приносил нам массу хороших и редких для нашего времени вещей, мы завели специально для него рубрику «Антология частного собрания», и много, много было напечатано в этой рубрике. Скажем, рассказы Ивана Лукаша, Борис Зайцев у нас шел, Владимир Набоков, стихи многих поэтов. Особенно мне запомнилась повесть Бориса Савинкова. Но это был еще подступ к тем основным публикациям, которые потом удалось осуществить. Так, в 1991-м году, например, благодаря ему появилась у нас вдруг неизвестная до сих пор поэма Саши Черного «Дом на Великой». Раньше она не могла быть в СССР напечатана. Но особенно, о чем Николай Николаевич очень просил, были важны его публикации повестей Иосифа Калинникова. Там были повести «Земля», «Баба-змея», но не это было главное. Главное, он просил опубликовать его вещь «Лагерь в пустыне». Это все было в седьмом номере 1991-го года.

Несколько слов пояснения. «Лагерь в пустыне» – это тот самый лагерь в Египте, куда сначала отвезли выходцев из Крыма, семьи эмигрантов, и где много людей погибло. И вот «Простор» эту повесть напечатал, а Николай Николаевич снабдил все это собственными воспоминаниями и рассказом о своих родителях. Он говорил тогда: «Вот это самое главное дело моей жизни – эта публикация. Я хочу, чтобы она состоялась, так как должен отдать долг своим родителям». И вот на трех журнальных страничках «Антологии частного собрания» предстал в журнале выписанный им скорбный путь той части русской эмиграции, которая – так уж выпала судьба – оказалась надолго отрезанной от всего мира. Впервые свету божьему предстали истинные обстоятельства побега с Родины.

«Год 1920-й... Ближится к концу гражданская война на юге России... 21 февраля хмурым промозглым днем из Новороссийска выходит в море до отказа перегруженный беженцами пароход «Саратов». Все дальше и дальше родная земля, и очертания ее берегов для большинства отъезжающих исчезают навсегда. Среди беженцев мой дед – плоть от плоти просвещенного, достославного своей благотворительностью волжского купечества Александр Ильич Альтухов с шестилетним внуком на руках, бабка Александра Ивановна, урожденная Воронцова, их сын, три дочери, четвертая – будущая моя мать в тифозном бреде лежит на полу в трюме, в душной, зловонной тесноте.

Какая же стихийная, недобрая сила заставила моего деда, крестьянского сына, потомка вольных волжских ямщиков в одночасье, не взяв с собой впрок ни одной вещи, расстаться с уютом домашнего очага? Тот день купеческий Камышин запомнил надолго. Началось массовое уничтожение ни в чем не повинных людей. Был расстрелян вернувшийся с фронта сын деда. Трупы сбрасывали в овраг с чудовищно ласковым названием «Беленький». Свершилось это в царствование присланного из Москвы председателя ЧК Иванова, которого, кстати, самого постигла в 39-м та же участь. Как бесценную религию я храню дедовский карманный молитвенник. На его полях дневниковые записи. Вот две из них: «20 октября 1918 года врагами убит сын Мишенька». «2 ноября того же года убит наш брат Иван Ильич...» Четвертый брат – Павел – жил в Заволжье, о его расстреле дед так и не узнал. Но на этом беды не кончились. Заложником был взят младший сын деда. Всех арестованных держали на барже. Списки расстрелянных публиковались в местной газете, волжские купальни кишели трупами. В один из списков зачислена была вся семья деда – от мала до велика. Деда об этом предупредили, когда началась уже операция по изъятию «заклятых врагов» Советской власти. Утром, когда пришли чекисты, дом был пуст.

Константинополь не принял на берег пароход «Саратов», порт Фамагусты на Кипре тоже. «Саратов» с сыпняком, корью и скарлатиной на борту принял на себя Египет, но по прохождению карантинного срока все пассажиры – две тысячи беженцев – оказались за проволокой в лагере.

Мне запомнился на всю жизнь один из рассказов матери. Однажды после нестерпимого дня она, художник Иван Яковлевич Билибин, две дочери писателя Евгения Чирикова, молодой писатель Иосиф Калинин и четыре маминых сестры отправились на прогулку по пустыне. Ушли далеко. И вдруг.. все разом остановились и подняли головы к полыхающему созвездиями небу. Оттуда, из сияющей выси, донеслось курлыкание журавлей. Голосам невидимой станицы, летевшей извечным путем на родные гнездовья, внимали сонмы звезд, древняя, как мир пустыня. Боже мой, ведь это наши, русские журавли, родные, они летят домой, а мы, мы...

В объявшей все вокруг космической тишине еще долго звучал журавлиный хорал. Когда он смолк, все повернули к лагерю. Шли молча, не стесняясь слез...

Через некоторое время умерла моя бабушка, а вслед за ней скончался и дед. Так рядышком и легли они, прирожденные волжане в африканский песок...».

Надо сказать, что и в последнее время Николай Николаевич много печатался в «Просторе». Каждый материал его нес в себе открытие, будь то знакомство с финикийской поэтессой времен античности, современницей Сапфо – Билитис с

ее эротическими стихами, психолого-биографический этюд о жизни и творчестве художницы и поэтессы прошлого века Марии Константиновны Башкирцевой, очерки об оставивших глубочайший след в сознании своего и последующих поколений поэтах Велимире Хлебникове, Марине Цветаевой и ее сестре Анастасии, неизвестные материалы о Вертинском или Леониде Андрееве. Все это – из собрания самого Николая Николаевича, который умел находить редчайшие рукописи, документы, книги там, где другие терпели фиаско. Все это писалось здесь, в святой святых квартиры-музея Николая Николаевича – его кабинете, где он работал днем и ночью. Писал, думал, разговаривал с книгами. Тут его маленький большой мир – книги, картины, разного рода исторические редкости, фотографии его предков. На стене фотография отца – офицера Белой армии, хорунжего Войска Донского.

– А здесь рядом его дед, он же мой прадед, – поясняет сын Николая Николаевича – Коля-младший, он же Николай. – Портрет этот времен жизни в Египте, куда попала в эмиграцию наша семья. По рассказам отца, прадед мой был большой человек, чье имя гремело на всю Волгу. Очень крупный купец, он имел собственные большие магазины и в Москве, и в Петербурге. Была в его собственности также своя электростанция, которая бесплатно освещала Саратов и Камышин. Моя бабушка – папина мама, говорят, была блестящая пианистка. Она окончила Саратовскую консерваторию, которая была одна из лучших консерваторий в России.

– А вот здесь батальные сцены.

– Да, это Шипка. Родившись в Болгарии и живя долго в ней, папа очень любил ее историю и знал досконально все о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он много о ней писал, и в нашей печати было несколько публикаций. Тут, видите, портрет генерала Скобелева – героя этой войны. Отец буквально боготворил его, потому что тот был светски высокообразованным человеком, блестящим военным, которого называли не иначе, как «белый генерал», потому что он водил войска в атаку только на белой лошади. Дальше идут театральные костюмы. Обладая красивым баритоном, папа окончил студию Софийской народной оперы, пел на сцене этого театра, а потом был ведущим солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Он очень любил эскизы к костюмам, декорациям и собирал их. Это и понятно – ведь папа был прекрасным рисовальщиком и несколько лет учился на театральном отделении в Софийской Академии художеств. Так что пристрастие ко всему сценическому было у него профессиональным. А это папина балалайка, он играл на ней еще в детстве. Теперь внук его Митя хочет овладеть ею, и мы будем восстанавливать струны.

– Папа много работал, он всегда был готов показать или рассказать что-то новое и интересное. Осталось ли что-нибудь из того, что он не успел еще явить миру?

– Много. Очень много осталось. Вот здесь папки, сотни папок с материалами. Кого и чего только нет в его копилке! Тут тебе фотографии и переписка Куприна, подаренные папе племянницей писателя Софьей Станиславовной Оржиховской. Он встречался с ней во время своей поездки в Туапсе, много записал с ее слов неизвестных историкам и литературоведам сведений. Тут редчайшие материалы из жизни Федора Ивановича Шаляпина, раскрывающие великого певца еще и как поэта, чьи стихи читались на знаменитых «Телешовских средах» и печатались в журнале этого литературного клуба – «Друкарь»:

Пожар, пожар, горит восток.
На небе солнце кровью блещет,
У ног моих пучина плещет,
И сердце бьется и трепещет,
И жизнь меня зовет вперед.
В лицо мне свежий ветер бьет...
И тьмы уж нет, и утра луч
Разрезал глыбы темных туч.

Среди множества интереснейших рукописей отцовской коллекции – материала об авторе знаменитого стиха-песни «Есть на Волге утес» – Александре Навроцком, выдающихся голосах болгарской оперы, Александре Грибоедове с его знаменитым «Горем от ума», Пушкиниана отечественная и зарубежная, десятки, сотни имен в документальных очерках, статьях, беллетризованных рассказах, множество дополняющих их документов, свидетельств.

– Да, что-что, а распутывать клубки, доискиваться до истоков Николай Николаевич любил и, ведя такого рода расследования, чудо как быстро сходилась с людьми, – говорит Владимир Пантелеевич Татенко, снявший фильм о старейшем писателе нашем Николае Алексеевиче Раевском, вспоминая при этом, как тот встретился с Гринкевичем, и как Гринкевич сумел мгновенно вовлечь в разговор не больно-то шедшего на откровенность Раевского. – Вот, значит, оказались мы в гостях у этого почтеннейшего человека. И Николай Николаевич первым делом конечно же, стал у него спрашивать про Галиполи, про Бизерту. Это места, где в 20-х годах расквартировывались русские эмигранты, а именно Белая армия. О них, как я понимаю, он знал с детства от своих родителей и того окружения, в котором они находились. И это надо было видеть, как оба – он и Раевский, прошедший этот путь, тут же отыскивали общие точки соприкосновения и даже общих знакомых! Надо было наблюдать, как им было радостно! Помнится мне также, как Николай Алексеевич рассказывал о Василии Ивановиче Немировиче-Данченко. Оказывается, он был родным братом Владимира Ивановича Немировича-Данченко – тоже писателем и драматургом, который ушел в эмиграцию и жил, как и Раевский, в Праге. Потом Николай Алексеевич перешел на рассказ о том, как хоронили «легального марксиста» Петра Струве, затем на то, как ему, единственному пушкинисту, посчастливилось побывать в знаменитом словацком замке Бродзяны, где сохранилось множество свидетельств о жизни Пушкина и его близких, а в конце разговора подарил Гринкевичу свою книжку о Пушкине «Портреты заговорили». Гринкевич был очень тронут надписью, которую Николай Алексеевич сделал на ней, а когда тот скончался, сказал во время прощания: «Пока живет Россия, будет жить Пушкин. Пока будет жить Пушкин, будет жить имя Николая Алексеевича Раевского». Очень точно сказал.

Да, о дружбе Гринкевича с Раевским знали все, и всем было понятно, что именно роднит их, несмотря на разницу возрастов. Это общность судеб, то есть, эмиграция. Не исключено, что работа Раевского над книгой воспоминаний побудила Николая Николаевича последовать его примеру. Результатом стал его удивительный по своей познавательности сборник очерков и мемуарных статей «Строки, имена, судьбы», вышедший в 1988 году в издательстве «Онер». «Приглашением к путешествию» назвал свою вступительную статью к нему известный

казахстанский журналист, телевизионный, кино- и радиодейатель Игорь Михайлович Савин, он же большой друг Николая Николаевича. «Мы познакомились с ним двадцать лет назад, – пишет он, – когда Казахское телевидение готовило один из самых первых своих телерепортажей по ПТС (передвижная телевизионная станция). Его вели из квартиры Гринкевичей. Зрители попали в домашний музей, обладатель которого увлеченно рассказывал о хранящихся у него уникальных книгах и произведениях живописи, о подлинных автографах и фотографиях, о литье из чугуна и бронзы, об орденах и медалях. Времени, отведенного для этой встречи, нам, конечно, не хватило. Мы попросили Николая Николаевича вернуться к своей коллекции в следующих передачах, и он согласился. Неоднократно выступал он также перед телезрителями и радиослушателями, писал о своих поисках, находках и открытиях для читателей «Вечерней Алма-Аты», «Огней Алатау» и «Ленинской смены».

Говоря о том, что Гринкевич собирал свою коллекцию не только ради своего удовольствия, он вспоминает о том, как в художественном телефильме «Курмангазы» два важнейших интерьера были полностью оформлены экспонатами из коллекции Николая Николаевича. Это стены казачьей избы, в которой скрывается Курмангазы от погони. Они были увешаны подлинными иконами, старинными резными декоративными блюдами, рушниками, лубочными картинками. А шпага в кабинете Перовского принадлежала деду Гринкевича, как и турецкие ятаганы, привезенные дедом в прошлом веке из Молдавии. Приводит Савин и одну из записей в книге отзывов Николая Николаевича. В ней народный артист СССР Евгений Диордиев, поставивший на сцене Лермонтовского театра спектакль «Заговор императрицы», благодарит собирателя раритетов за то, что замечательная коллекция его помогла ему достоверно отобразить ряд эпизодов, форму одежды, ордена, знаки отличия, ритуал, этикет и многое другое. Такого рода записей было немало. Среди них – театрального художника Владимира Семизорова, поставившего на лермонтовской сцене «Шестое июля».

– Меня всегда поражало, – продолжает разговор Лилия Ивановна Соболева, – что бытовизм для него как бы не существовал. Самым главным был внутренний мир, которым он жил. И вот что интересно – всякий раз, уезжая на гастроли, он вставал на колени перед своими стеллажами, гладил любимые книги, молился на них, целовал и говорил: «Друзья мои, я уезжаю ненадолго. Не тоскуйте». Вот так – просил прощения, целовал и только потом ехал. Двадцать пять лет я захожу в этот дом, и всегда делаю это с трепетом. Всегда. А сейчас, когда Коли с нами нет, приходя сюда, я в первую очередь иду к его книгам, потому что он незримо там присутствует. Его душа осталась там, в его книгах, в его коллекции. Он был совершенно необыкновенный человек. Я в своей жизни больше таких не встречала.

– Скажите, а он делился с окружающими своими радостями и находками? Ведь коллекционеры – люди сложные, порой очень осторожные, подозрительные, замкнутые.

– Конечно, делился, и делился с радостью. Его вообще отличала широта натуры. Он никогда не гнушался что-то спросить, что-то уточнить. А уж когда что-нибудь заканчивал писать, то первыми ценителями, как правило, были мы – Рая, Николай и я. Он сажал нас перед собой и говорил: «Ну, слушайте!». И дальше по ходу: «Эту фразу можно так сказать?». Делился он всем. Я никогда не забуду,

как всей семьей, и я вместе с ними, съездили первый раз в его родной Саратов и родной Камышин. Наконец-то сбывалась Колина мечта – он ехал туда, чтобы увидеть, наконец, родину деда и отца. Он туда рвался, его несло туда. Мы объездили и обошли там все, что было можно. И это счастье, что он все-таки хоть незадолго до своей кончины прикоснулся к фамильным пенатам. Он жил этой поездкой и привез оттуда уйму знакомств, массу различных впечатлений и задумок. Вероятно, они все бы перешли на бумагу, потому что до последнего дня он диктовал какие-то материалы. Я не знаю, какие именно, но диктовал он до последнего.

– Какие это были материалы, знаю я, – вступает Ростислав Петров. – Незадолго до его кончины мы опубликовали его работу о Бальмонте с малоизвестными его стихами из собрания Николая Николаевича. Но была у него еще мечта опубликовать Игоря Северянина – тоже многое из его неизвестных стихов. Николай Николаевич писал свое вступительное слово к ним, и вот в один из дней они договорились с Вячеславом Киктенко, который вел у нас отдел такого рода публикаций, о встрече назавтра по уже подготовленному материалу. Но встреча не состоялась, поскольку автор их был вынужден лечь в больницу.

– Диагноз не обещал ничего утешительного, – поддерживает Игорь Астафьев. – И, тем не менее, буквально перед кончиной Коля, зная о своей обреченности, поздравил всех близких и друзей с Новым 1992-м годом. Я был этим буквально потрясен. Ему ведь был известен его безнадежный диагноз, потому что когда он первый раз лег в больницу, и я к нему пришел, он очень серьезно по-мужски сказал мне: «Я знаю – игра моя окончена, и мне жаль, что многое из того, что я отобрал за многие годы для своей коллекции, останется нераскрытым и нерасказанным. Не знаю, увижу тебя еще раз или нет, но постарайся продолжить то, что я начал. Ну, хотя бы часть этого». Да, таким было его обращенное ко мне пожелание, но, чувствую, что выполнить его я не в силах, потому что не знаю столько, сколько знал Коля.

– Да, знаний у него было невероятное множество, – подтверждает жена Николая Николаевича Раиса Васильевна, – и многое он излагал в своих статьях. Журналистикой увлекался с юности. Еще будучи студийцем Софийской народной оперы, совмещал свою учебу с обязанностями заведующего отделом культуры издававшейся в Софии газеты «За Советскую Родину» – печатного органа проживавших в Болгарии советских граждан. Замечательным образцом его письма как такового и мемуарного в том числе может служить блистательный очерк «Любимцы муз» (книга «Имена, судьбы, строки»), в который включено интервью, взятое еще в двадцатые годы у ветерана болгарского оперного искусства Петра Райчева и продолженное с ним же через тридцать лет. Легко, свободно, виртуозно излагается в нем творческий и жизненный путь замечательного тенора, особенности его певческого таланта и бурной, как горный поток, жизнерадостной природы, умение дружить с интересными людьми и ценить их за то, в чем проявляется их одарение. Федор Шаляпин, Максим Горький, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Маттиа Баттистини – эти и другие выдающиеся личности входили в круг близких людей Петра Стояновича Райчева, и все они прописаны в Колином материале. Совершенно неожиданным, но абсолютно жизненным выступает в нем завершающий эпизод, а точнее, интервью с ровесником Райчева и его, как оказалось, другом по детству – солистом Театра оперы и балета имени Абая – заслуженным деяте-

лем искусств Казахской ССР Александром Матвеевичем Кургановым. Близость Райчева с Кургановым Коля обнаружил, уже живя здесь, в Алма-Ате, в одном из разговоров с Александром Матвеевичем. «Как, вы знакомы с Райчевым? – был удивлен тот. – Неужели Петруша, этот вечно озорной мальчишка, жив и здоров? Как, он еще поет?! Ведь мы с ним старые друзья – мы пели в Киеве, встречались в Париже и Каире. Да, это было давно! Мы были молоды, талантливы, нам аплодировали лучшие театры... Цветы, поклонницы... Мы были любимцами муз!».

– По тому, как устроен ваш дом, как вы принимаете гостей и говорите о своем муже, чувствуется, что вы его хорошо понимали и жили его интересами. Скажите, а каким образом вы нашли друг друга?

– Мы встретились в нашей консерватории, где я тогда училась на фортепианном отделении. Николай Николаевич пришел на вечер, увидел меня. Мы познакомились и через три дня поженились. «Он, – говорят девчонки, – украл твой чемодан».

– Это как же?

– А так – прихожу я в общежитие, а они: «Рая, а ты чего пришла? Гринкевич твой чемодан взял и сказал, что вы с ним уже поженились!». Я поплакала вместе с ними и пошла к Гринкевичу. Мне был двадцать один год, Николай Николаевич оказался старше меня на семнадцать лет, и мы прожили душа в душу почти тридцать лет. Жизнь моя была наполнена радостью и счастьем, всегда было весело. Было весело и интересно, потому что он открывал множество лежавших под запретом сведений и фактов, в том числе раньше Москвы нашу русскую эмиграцию, знакомил с достойными, доселе неизвестными нам именами людей, составлявших цвет российской интеллигенции девятнадцатого – начала двадцатого веков. И еще очень важно – когда мы все молчали о Боге, а если и говорили о нем, то совсем втихую, когда боялись посещать церковь, он оставался самим собой и никогда не поддельвался под время. Более того, он был одним из тех, кто добивался возвращения верующим нашего алма-атинского Вознесенского собора. И собор этот, как вы знаете, решением президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева был передан Русской Православной церкви.

– Так что нет ничего удивительного в том, что незадолго до кончины Николай Николаевич был возведен в сан?

– В сан дьякона, – уточняет Коля-младший. – И он принял его осознанно и благоговейно, потому что это не было каким-то минутным желанием, отец шел к церкви всю жизнь. Он был глубоко верующим человеком, так как веру эту привили ему с детства как родители, так и та обстановка, которая его окружала. Он и меня благословил на служение Всевышнему. На этот трудный, нелегкий путь. Сейчас я думаю, что он стоит у престола Божия и молится за всех нас.

– А послан Николай Николаевич на эту землю, – размышляет краевед Владимир Проскурин, – мне кажется, за тем, чтобы, творя чудо искусства и слова, удивлять и просвещать. И он, послушный сын Господа, проявление его духа во человецех, исполнял свою миссию исправно и с любовью. Сколько спето и сыграно им на сцене, сколько сказано с печатных страниц, с телевизионного экрана и в радиоэфире! И все это немалые пласты культуры – европейской, русской, и, конечно же, казахской. Взять хотя бы его прекрасные очерки об Александре Курганове, Еркеке Серкебаеве, Бибигуль Тулегеновой, Розе Джамановой, Канабеке Байсеитове и других наших певцах. Материалы эти явились совершенно новым

явлением в культуре Казахстана. Фактически, и я хочу это подчеркнуть, он был родоначальником казахстанского музыкального краеведения. Обычно статьи о композиторах, например, грешат сухостью и наукообразием. А в его подаче тот же Амре Кашаубаев, Латиф Хамиди или кто-то другой видятся живыми, самобытными людьми. Там не выпячивается ничего лишнего, а рассказано о таких вещах, которые простой музыковед обошел бы.

Вообще с Николаем Николаевичем у меня довольно странно все произошло. Я был подготовлен к встрече с ним с самого детства – у нас в семье разговоры о нем были постоянными. Бабушка моя – Мария Александровна Гольцева, будучи пианисткой, работала в Театре оперы и балета имени Абая и в консерватории. А Николай Николаевич приходил к нам иногда за нотами. Нередко это было в бабушкино отсутствие, и я всегда говорил ему: «Пожалуйста, берите ноты, какие вам нужно». Ну, это, естественно, были старинные ноты, девятнадцатого века. Не знаю, сейчас не помню, пригождались ли ему они. Но прошло время, и судьба столкнула нас, когда я стал совсем взрослым, занялся краеведением, готовил, как и он, много публикаций, и наши интересы сошлись. Несмотря на разницу в возрасте, мы подружились и нередко выступали как единомышленники. Так было, когда мы добивались возвращения Православной церкви Вознесенского собора, так было, когда мы вместе с известным коллекционером-пушкинистом Нысанбаем Избаевым, культурологом Юрием Пачиным, музыковедом Юрием Аравиным и другими деятелями культуры создали Пушкинское общество и вели активную и разностороннюю работу по этой тематике.

Для меня, конечно, потеря Николая Николаевича огромна. Дело в том, что я лишился человека, которого, в общем-то, понимал, и он меня, мне кажется, понимал тоже. Потому что даже те краеведы, которых я знаю здесь в Казахстане, они все же воспитаны советской школой. Настоящее же краеведение было ликвидировано в тот момент, когда боролись с генетикой. Это были 1930-1931 годы. У нас в Казахстане прошел первый и последний съезд краеведов в 1930 году, и все его участники были расстреляны. А это значит, что краеведение, поскольку оно было объявлено вредным, с этого времени прекратилось. Позже его пытались возродить на уровне Академии наук. В 1952 году было воссоздана секция краеведения, но все это было не то. А вот именно такие люди, как Николай Николаевич Гринкевич, конечно, могли сделать еще много для краеведения. Именно такого, каким мы его понимаем в самом глубоком и занимательном смысле этого слова.

– У Коли краеведение сопрягалось с просвещением, – добавляет Игорь Астафьев. – Вы даже не представляете, сколько передач мне посчастливилось сделать с ним на Казахском радио! Благодаря ему шли у нас новые циклы, новые названия. Помню, как-то раз я просто поразился. Приходит он ко мне и говорит: «Знаешь, Игорь, сегодня я расскажу нашим радиослушателям про нумизматику». «Ну, хорошо, – говорю, – Коля! Ты расскажешь про нумизматику. А как ты проиллюстрируешь свой рассказ?». «А вот смотри!», – отвечает он. Сел, взял монету, начал ее вертеть-крутить, подкидывать и ударять об стол. И говорит: «Вы слышите, товарищи, этот, казалось бы, совсем обычный, ничем не примечательный звук? Но это не просто звук, это ударяется о поверхность монета такого-то века из такого-то металла, принадлежавшая такому-то человеку. Вы слышите, как она звучит?». И вот таким элементарным и очень остроумным образом он вышел из этого вроде бы безвыходного положения. Другой раз он меня очень удивил, сказав,

что учился в Болгарии вместе с Дмитрием Узуновым. Это был знаменитый тенор в труппе Софийского оперного театра, но пока он не подступил к своей вершине, они с Колей, оказывается, оба пели в хоре.

Работая еще в балетной труппе Театра оперы и балета имени Абая, я часто видел, как он сидел с кем-нибудь, разговаривал и записывал. Помню, у нас был блестящий дирижер Валентин Чернов. О нем все как-то позабыли, хотя он, маэстро старшего поколения, дирижировал в Большом театре. А Коля подолгу сидел с ним обо всем расспрашивал, все фиксировал. И вот последние мои с ним передачи были как раз о Чернове, а потом о его коллеге, рано ушедшем из жизни дирижере Тургуте Османове. Стараясь идти в Колином русле, я в свою очередь подготовил циклы своих радиовстреч с Ермеком Серкебаевым и Булатом Аюхановым, а также написал воспоминания о замечательном танцовщике и моем любимом педагоге – дяде Саше, то есть, Александре Владимировиче Селезневе

– Вместе с Гринкевичем, – продолжает Вячеслав Карпенко, – много лет в нашем оперном театре работал художник Калмыков. Станный, замкнутый, не склонный к широкому общению, Сергей Иванович был замечательным художником, или, как говорил он, Гением Первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, а также Гроссмейстером волнистых линий и линейных искусств. Задумав писать о нем книгу и просмотрев все, какие есть на этот счет материалы, я знаю теперь про Калмыкова, по-моему, все. Во всяком случае, могу с уверенностью сказать о том, что Сергей Иванович мало кому дарил свои картины. И вдруг, копаясь в архивах, я нахожу запись в его дневнике: «Вчера подарил два своих этюда и одну картинку Коле Гринкевичу. Он так вежливо подошел ко мне и так хорошо отозвался о моих работах, что я не мог не подарить ему». Это ли не характеристика нашего уважаемого Николая Николаевича! Думаю, нам очень повезло, что в нашей среде был человек такого масштаба, такой души.

Вот такой был Николай Николаевич, замечательный человек, с которым всем было интересно, весело. И на этом, я думаю, мы попрощаемся с хозяйкой этого удивительного дома-музея и его домочадцами, поклонимся, как это делал Николай Николаевич, его книгам и... послушаем, как размышлял он сам о своих сокровищах в одной из своих радиопередач.

– Книги, книги, книги..., – говорил он в ней. – Все в доме потеснилось, чтобы уступить им место. Среди них редкие, редчайшие, уникальные. А рядом с ними книги с однозначными номерами, пятьдесят лет назад положившие начало моему собранию. От них и пошел сегодняшней многотысячный отсчет. Они украсили детство и юношеские годы уже двух поколений мои и моего сына. Я верю в то, что и его дети – племя молодое, незнакомое – сберегут и приумножат собранное мною, помянут добрым словом книжную одержимость деда. Да, только так и создаются могучие родовые библиотеки!

Вычитано и выверено мною окончательно.

Декабрь 2014 г. по записи 1992 г.

